

Athanasius

Pacte

Annotation

- [ДОМАШНЯЯ КРАЖА](#)
 - [notes](#)
 - 1
-

ДОМАШНЯЯ КРАЖА

Анри Моно [\[1\]](#).

Лет десять тому назад мне случилось побывать в одной женской тюрьме. Это был старинный замок, выстроенный еще при Генрихе IV и возвышавший свои остроконечные шиферные крыши над невзрачным южным городком, расположенным на берегу реки.

Начальник тюрьмы достиг уже того возраста, когда начинают подумывать об отставке. Парик у него был черный, а борода седая. Это был своеобразный начальник. Он самостоятельно мыслил и был человечен. Он не питал иллюзий относительно нравственности трехсот своих подопечных, хотя отнюдь не полагал, чтобы она была намного ниже, чем у каких-нибудь других сотен женщин, взятых наугад в любом городе.

«Здесь все так же, как везде», — казалось, говорил мне его усталый, мягкий взгляд.

Когда мы проходили по тюремному двору, длинная вереница женщин заканчивала свою молчаливую прогулку и возвращалась в мастерские. Тут было немало старух с грубыми и хитрыми лицами. Сопровождавший нас тюремный врач, мой добрый знакомый, указал мне на то характерное явление, что почти все эти женщины отличаются физическими недостатками, что среди них часто встречаются косоглазые, что все они дегенератки и лишь немногие среди них не отмечены признаками преступности или, по крайней мере, порочности.

Начальник тихо покачал головой, и я понял, что он не очень-то доверяет теориям медиков — криминалистов и остается при убеждении, что виновных в нашем обществе не всегда отличишь от невиновных.

Он повел нас в мастерские. Мы увидели, как работают булочницы, прачки, белошвейки. Казалось, труд и чистота доставляли им что-то похожее на радость. Ко всем этим женщинам начальник относился хорошо. Самые тупые, самые злобные не могли поколебать его терпения и доброжелательности. Он полагал, что нужно многое прощать людям и не следует, слишком много спрашивать даже с преступниц. Вопреки обыкновению, он не требовал от воровок и сводень, чтобы они стали безупречными только потому, что их постигла кара. Не очень-то доверяя исправительной силе наказаний, он и не помышлял превратить тюрьму в школу добродетели. Он не думал, что, людей можно сделать лучше,

заставляя их страдать, и как мог облегчал страдания этим несчастным. Не знаю, насколько он был религиозен, но идею искупления он не придавал никакого нравственного смысла.

— Я толкую устав, прежде чем его применять, — сказал он мне. — И сам объясняю его заключенным. Устав предписывает, например, абсолютную тишину. Но если бы они буквально соблюдали полную тишину, то все стали бы либо идиотами, либо сумасшедшими. Я думаю, я обязан думать, что ведь не этого добивается устав. Я им говорю: «Устав предписывает вам соблюдать тишину. Что это значит? Это значит, что надзирательницы не должны вас слышать. Если вас услышат, вы будете наказаны; если не услышат, вас не в чем будет упрекнуть. Я не могу привлекать вас к ответу за ваши мысли. Если ваши разговоры произведут не больше шума, чем ваши мысли, я не буду привлекать вас к ответу за ваши разговоры». И, предупрежденные таким образом, они приучаются разговаривать как бы беззвучно. Они не сходят с ума, и устав соблюден.

Я спросил, одобряет ли вышестоящее начальство такое толкование устава.

Он ответил, что инспекторы часто делали ему замечания, но тогда он вел их к наружной двери и говорил: «Видите эту решетку? Она деревянная. Будь здесь мужчины, через неделю ни одного бы не осталось. Женщины не помышляют о побеге. Но все же надо остерегаться и не приводить их в ярость. Уже сам тюремный режим неблагоприятен для их физического и морального состояния. Я отказываюсь отвечать за них, если будет введена еще и пытка молчанием».

Затем мы посетили лазарет и спальни, устроенные в больших залах, выбеленных известкой, где от былого великолепия остались только монументальные камини из серого камня и черного мрамора, увенчанные горельефами величественных добродетелей. Статуя Правосудия, изваянная в 1600 году каким-то итальянizedированным фламандским скульптором, — с обнаженной грудью и с выступающим из разреза туники бедром, держала в толстой руке перекошенные весы, чашки которых звякали одна о другую, как цимбалы. Эта богиня нацелилась острием своего меча прямо на маленькую больную, совсем, казалось, девочку, лежавшую в железной кровати на тюфяке, тонком, как сложенное полотенце.

— Ну как? Лучше? — спросил доктор.

— О да, сударь, гораздо лучше.

И она улыбнулась.

— Ну вот, будьте умницей, и вы поправитесь.

Ока посмотрела на врача своими большими глазами, полными радости

и надежды.

— Да, она была очень больна, эта малышка, — сказал доктор.

И мы пошли дальше.

— За какой проступок ее осудили?

— Не за проступок, а за преступление.

— Ах, так?

— За детоубийство.

Пройдя длинный коридор, мы вошли в маленькую комнату, довольно веселенькую, всю заставленную шкафами. Ее окна без решеток выходили на волю. Молодая женщина, очень красивая, сидела за столом и писала. Стоя возле нее, другая, прекрасно сложенная, искала ключ в связке, подвешенной к поясу. Я подумал было, что это дочери начальника тюрьмы. Он мне сказал, что это заключенные.

— Разве вы не видели, что они в тюремной одежде?

Я этого не заметил — вероятно, потому, что одежда сидела на них не так, как на других.

— Их платья лучше сшиты, а чепчики поменьше, чем у других, так что видны волосы.

— Дело в том, что очень трудно помешать женщине показывать свои волосы, если они красивы, — ответил старый начальник. — Обе эти женщины подчиняются общему режиму и должны работать.

— Что они делают?

— Одна архивариус, другая библиотекарь.

Нечего было и спрашивать: это были «жертвы любви». Начальник не скрыл от нас, что преступниц он предпочитает простым правонарушительницам.

— Я знаю преступниц, — сказал он, — как бы совершенно непричастных к своему преступлению. Оно было в их жизни словно какой-то молнией. Они способны быть прямыми, мужественными и благородными. О моих воровках я бы этого не сказал. Их проступки, всегда посредственные и заурядные, составляют основу их существования. Они неисправимы. Низость, толкнувшая их на недостойные дела, постоянно проявляется в их поведении. Наказание они получают относительно мягкое, а так как физически и морально они малочувствительны, то обычно легко его переносят.

— Но нельзя сказать, — поспешил добавил он, — что все эти несчастные вовсе не заслуживают жалости и внимания. Чем больше я живу, тем больше замечаю, что нет виновных, а есть несчастные.

Он ввел нас в свой кабинет и велел смотрителю привести

заключенную № 503.

— Вот для вас случай, — сказал он, — увидеть настоящий спектакль, отнюдь не подстроенный заранее, прошу вас поверить, и способный внушить вам, быть может, новые мысли о проступках и наказаниях. То, что вы увидите и услышите, я видел и слышал сто раз в моей жизни.

В кабинет вошла заключенная в сопровождении надзирательницы. Это была молодая крестьянка, довольно красивая, с виду простоватая, недалекая и кроткая.

— У меня для вас приятная новость, — сказал ей начальник. — Господин президент республики, узнав о вашем хорошем поведении, снимает с вас остаток наказания. В субботу вы выходите из тюрьмы.

Она слушала, приоткрыв рот, сложив руки на животе. Но мысли туго проникали в ее голову.

— В следующую субботу вы выйдете из этого дома. Вы будете свободны.

На этот раз она поняла и, как бы в отчаянии, всплеснула руками; губы у нее задрожали.

— Правда? Мне надо уходить? Что же со мной будет-то? Тут меня кормили, одевали и все такое... Не могли бы вы сказать этому добруму господину, что уж лучше бы мне тут остаться?

С мягкой настойчивостью начальник растолковал ей, что нельзя отказываться от павшей на нее милости. Затем он предупредил ее, что при уходе она получит известную сумму — десять или двенадцать франков.

Она вышла вся в слезах.

Я спросил, что такая могла сделать.

Он перелистал книгу:

— Номер пятьсот три. Была работницей у деревенских хозяев... Украла у них нижнюю юбку... Домашняя кража... А знаете, закон строго карает домашнюю кражу.

notes

Примечания

1

Французский фрач, общественный деятель конца XIX века